

Я ПОЗНАКОМИЛСЯ с Алексеем Максимовичем Горьким в 1935 году. Этому предшествовали не совсем обычные обстоятельства.

Я жил в Ленинграде, работал в Публичной библиотеке и одновременно состоял в должности секретаря академического издания сочинений Пушкина. А кроме того, серьезно занимался Лермонтовым. Но мною владела при этом непонятная страсть — рассказывать «в лицах». Публично я в ту пору не выступал, но в литературной и артистической среде меня слышали очень многие. Рассказывал я везде — в гостях, на лестнице Публичной библиотеки, в вестибюле Пушкинского дома, в коридорах издательства, — только бы слушали. Иногда именитые литераторы приглашали меня, чтобы угостить моими рассказами московских гостей. Когда мне случалось бывать в Москве, друзья московские приглашали гостей, чтобы познакомиться их с ленинградским рассказчиком. Но о выходе на эстраду я в ту пору и думать не думал.

И вот однажды приехавший в Ленинград тогдашний директор издательства «Советский писатель» Федор Маркович Левин услышал меня и предложил ехать с ним вместе в Москву — он устроит мой вечер в Клубе писателей. Не без колебаний я согласился.

Привез он меня в Москву, сдал директрисе писательского нашего клуба. Она сказала:

— Ну вот, мой милый. У нас сейчас пошел февраль. Давайте устраивать ваш вечер в апреле.

Мне показалось, что я ослышался:

— Как в апреле? Я приехал всего на три дня.

— Да что вы! У меня и календарь напечатан, и билеты разосланы. И писателей мы никого не успеем предупредить. Помещения свободного у меня на эти дни нет. Не будете же вы выступать без публики в пустом кинозале!

Несколько даже расстроенный, я сказал, что мне все равно. Что у меня есть в Москве шестнадцать знакомых, на внимание которых я рассчитываю. И хочу пригласить их на мой первый концерт.

— Да там четыреста мест, а вы говорите — шестнадцать.

Я сказал:

— Мне все равно.

Тогда директриса обещала

со своей стороны пригласить еще шестнадцать гостей.

На том и расстались. И я понял, что приехал в Москву, чтобы провалиться. В Ленинградской филармонии я уже провалился в качестве лектора — теперь, в Москве, провалюсь с рассказами.

Наступил вечер 7 февраля 1935 года — число, которое я никогда не забуду. Я стоял за киноэкраном, Левин вышел, чтобы представить меня. Из-за кулисы я глянул в зал. Рассказывание «по домам» в течение нескольких



лет не прошло даром. Зал был полон. Левин сказал:

— Перед вами выступит сегодня не профессиональный эстрадный чтец, а начинающий ленинградский литератор, секретарь Пушкинской комиссии Академии наук СССР...

Я пришел в ужас. Я был секретарем не Пушкинской комиссии Академии наук СССР, а секретарем пушкинского издания Пушкинской комиссии Академии наук СССР. А разница между этими понятиями такая же, как между словами «милостивый государь» и «государь император».

Но самое ужасное было в том, что в первом ряду сидел член-корреспондент Ака-

демии наук СССР, профессор Бельчиков — действительный секретарь Пушкинской комиссии Академии наук, который крайне изумился этим словам и виду своего двойника.

Я чуть не провалился от ужаса. И не провалился. Выручил уже накопленный к этому времени опыт рассказывания. А, главное, говорил то не я. Говорили мои герои. А они говорить умели.

После концерта за кулисы стали входить писатели, поздравляли. Вошел Всеволод Иванов, сказал:

— Очень хорошо, Андроников. Просто, знаете, очень здорово. Я непременно расскажу о вас Алексее Максимовичу Горькому. А на днях поеду к нему, потому что вас непременно надо ему показать.

И все завертелось в моих глазах — Москва, зима, но-

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С ГОРЬКИМ

вые знакомые, новые выступления. Наконец позвонили от Горького.

— Вы — в списке, завтра едете к Алексею Максимовичу. У него просьба к вам — исполнить для него ваш рассказ про Самуила Яковлевича Маршак и про Алексея Николаевича Толстого. Сколько человек будет? Немного, только свои. Из приглашенных приехали из Ленинграда Алексей Николаевич Толстой и Самуил Яковлевич Маршак.

Я снова затрясся. Ни Толстой, ни Маршак не имели об этом рассказе ни малейшего представления. Толстому я не раз рассказывал про Маршак, а Маршаку — про Толстого. Тут они будут оба и увидят себя в полном изображении да еще в присутствии Горького. Самое явление мое в доме Горького будет для них неожиданным.

Тут я прибег к небольшой хитрости. Позвонил Толстому и стал уговаривать его взять меня с собой к Алексею Максимовичу.

Толстой сказал:

— Ты просишь о невозможном. Надо было думать раньше. Без приглашения ехать нельзя. Я скажу Алексею Максимовичу, что в сле-

дующий раз приеду с тобой.

— Нет, — я говорил, — завтра.

— Это совершенно бесцельно. Но я попробую. Позвони через десять минут.

Я позвонил. Он сказал:

— Я тебя устроил. Ты — в списке.

Тогда я позвонил Маршаку. Маршак сказал:

— Какая жалость, что ты так поздно спохватился. Тебя непременно надо будет показать Алексею Максимовичу. Он ведь великолепный рассказчик. Твои рассказы ему непременно должны понравиться. Ты не унывай, не огорчайся. Я постараюсь тебя устроить когда-нибудь в другой раз. Ты знаешь, я боюсь, что теперь это поздно уже. Но все-таки попробую, позвони мне через десять минут.

Я позвонил.

Толстой сказал:

— Войдет Алексей Максимович — ты не кидайся к нему, как безумный. А стань тихонько в сторонку. Я поговорю с ним, а потом представлю тебя. Подойдешь — скажешь: «Здравствуйте, Алексей Максимович. Я — Андроников». Понял?

Только Толстой стал настаивать радиоприемник, вдруг слышим: кашель. Обернулись — Горький стоит. Толстой сказал:

— Здравствуйте, Алексей Максимович! Я привез тут к вам одного человека забавного.

— Да я и сам понимаю, что одного, поскольку себя вы, вероятно, к категории человечков не относите, этому мешает не только ваше физическое дородство, но и огромный и отличный талант ваш, а про одного, как вы

говорите, человечка по имени Ираклий, а в переводе на итальянский манер — Эрколе, мне не раз настойчиво и увлеченно рассказывал Иванов Всеволод. А сейчас очень уверенно и доброжелательно рекомендовал прибывший с вами Самуил Маршак.

Толстой сказал:

— Алексей Максимович! Вы знаете: Ираклий показывает кучу народа и очень похоже. И вообще — толковый парнишка. Иди поздоровайся!

Хотя после этого можно было уже не называться, я так был взволнован, что повторил то, чему меня научил Толстой, и сказал как новост:

— Здравствуйте, Алексей Максимович. Я — Андроников!

— Вот как!

(Я как-то не сразу понял, что тут имела место режиссура Алексея Николаевича. Неправильно познакомился, не соблюл политес.)

Помахал перед собой воображаемой шляпой с плюмажем и сказал:

— Горький — моя фамилия. А еще вернее: Пешков. И широким жестом пригласил нас в столовую.

Я представлял себе Горь-

кого по портретам, по кинохронике, снятой в дни Первого съезда советских писателей, когда он, волнуясь и потирая руки, говорил о взаимоотношениях писателей и о праве единственном, которое у них отнято, — праве писать плохо. Дома у себя Горький был спокойнее, говорил, покашливая, неторопливо и веско.

Редко мне приходилось в жизни видеть человека такого обаяния и такого необыкновенного артистизма. Мне стало казаться, что я его знаю уже давно. Более того... что и он меня знает давно. И я успокоился. Насколько можно было успокоиться в этот необыкновенный и такой важный для меня день.

Сели за стол. Обедать. После второго блюда Горький сказал:

— Ну, уважаемый Эрколе.

Попросим вас, сударь, познакомиться нас с вашими сочинениями.

Толстой шепнул:

— Работай в полную силу. Ты старику понравился.

И я начал рассказывать. Сперва про Толстого и Маршак. Начинался рассказ «за кулисами». Первые фразы я произносил в другой комнате. Я на ходу придумывал фразы, чтобы не задеть самолюбие своих «моделей». Впрочем, они вместе с Горьким очень доброжелательно оценили свои «портреты». Насмевшись и крутя головой, Горький сказал, что я похож на них больше, чем они на себя сами.

Маршак сказал:

— Толстой у него больше похож, чем я...

Горький закурил тоненькую египетскую папироску, сказал:

— Этой вашей фразой, дорогой Маршак, будет начинаться какой-нибудь новый его рассказ...

А потом всерьез, обстоятельно стал говорить о способности искусства быть более похожим на действительность, чем сама действительность. И о том, что трудно узнать себя на портрете. По-

тому что человек знает себя иначе и представляет себя иначе, чем его видят другие.

Потом я рассказывал про знаменитого лингвиста академика Щербу, у которого учился в Ленинградском университете. Потом рассказал «В гостях у дяди» — про громкогласного тифлисского меломана Илью Элевтеровича Зурабишвили и его давнего друга, глухую старушку Мако — в прошлом замечательную грузинскую актрису Марию Михайловну Сапарову-Абашидзе.

— Отлично, отличные старики, — сказал Алексей Максимович. — Грузинские «Филлимон и Бавкиды», символизирующие радушие и нестерпимую любовь. Их воспел в свое время римский поэт Овидий, которому посвятил великолепные строки наш Александр Пушкин.

Самым капитальным из моих устных сочинений той поры был рассказ «Обед с Качаловым». Так случилось, что, когда я уже подошел к концу, приехали гости — человек двадцать, если не больше. Алексей Максимович стал рассказывать им про меня, потом попросил:

— Эрколе, если вы не очень устали, не сможем ли мы дать для вновь прибывших второй сеанс.

Я пошел рассказывать все сначала. Кончил — К. Е. Ворошилов приехал. Для него Алексей Максимович попросил провести третий сеанс.

Толстой говорил:

— Знаете, Алексей Максимович. У Ираклия особенная, так называемая стенографическая память. Он запоминает все, что я говорю, а потом стругает из этого свои рассказы.

— Ну, это крайне сомнительно. Потому что он тут трижды рассказывал это, и все по-разному. А вы при этом восклицали: «Откуда ты это взял?». Интересно вот что: сидит начинающий комментатор Лермонтова и продолжительно рассказывает, о чем беседовали между собой знаменитый советский писатель и не менее знаменитый советский актер. И люди, искусственные в литературе и не первый день в ней пребывающие, слушают эту сцену, хотя по существу никакого театрального действия в ней не происходит. А некоторые кокетливые и весьма путанные театральные критики изощряются в поношении «Егора Булычова», утверждая, что пьеса сия не сценична.

потому что в ней интерес внешнего действия заменен длинными разговорами. Все это совершенно неубедительно. Смею думать и утверждать, что действие в «Булычове» выражено, но выражено не в сценической суете, а в диалогах и речах действующих лиц. Между прочим, искусство живого рассказа было бы невозможно без этого, поскольку действие рассказа заключено в нем же самом. Рассказывание в лицах не заставляло себе прочного места в литературе, потому что не связано с книгой. Дело это крайне интересное, но, видимо, затруднительное... Был у нас в Арзамасе звонарь. Представлял в лицах торговца галантерейным товаром, богомаза, дьячка, нотариуса и десятка два других персонажей. Анафемски талантливо исполнял. Великолепные были скетчи. Но закрепить это на бумаге — дело затруднительное не только для звонаря. Между тем исчезновение этого рода искусства мешает его понять...

Через несколько дней после поездки к Горькому мне позвонил Виктор Шкловский. Сказал:

— У меня Петр Павленко. Хочет получить твою рукопись. Я ему говорю: «Он не пишет, а говорит». Не верит. Трубку взял Павленко. Сказал:

— Будем считать, что мы познакомились. А теперь дайте рукопись... Что значит — нету?! Сядьте и напишите! Когда мы не пишем, у нас тоже нет рукописи. Не умеете написать — продиктуйте... Что значит «не могу без аудиотипки». А что мы с Витей Шкловским — не люди? Приезжайте, расскажите нам. Стенографистка запишет. Перестаньте волноваться. Мы хотим вам добра. Горький хвалит. Я сегодня же отвезу к нему текст, чтобы получить его отзыв.

Мы встретились. Павленко увез расшифрованную стенограмму. Вскоре в журнале «30 дней» появились мои рассказы с рекомендацией Горького. В нескольких строчках он похвалил их, но отметил, что, оторванные от автора, они многое теряют. Тем самым признал, что это рассказы особые, устные, неотделимые от исполнителя.

Прошли годы. Явилось тепловидение. И вместе с ним возможность исполнить их перед огромной аудиторией так, как я когда-то рассказывал их Горькому.

Ираклий АНДРОНИКОВ

Потому что человек знает себя иначе и представляет себя иначе, чем его видят другие.

Потом я рассказывал про знаменитого лингвиста академика Щербу, у которого учился в Ленинградском университете. Потом рассказал «В гостях у дяди» — про громкогласного тифлисского меломана Илью Элевтеровича Зурабишвили и его давнего друга, глухую старушку Мако — в прошлом замечательную грузинскую актрису Марию Михайловну Сапарову-Абашидзе.

— Отлично, отличные старики, — сказал Алексей Максимович. — Грузинские «Филлимон и Бавкиды», символизирующие радушие и нестерпимую любовь. Их воспел в свое время римский поэт Овидий, которому посвятил великолепные строки наш Александр Пушкин.

Самым капитальным из моих устных сочинений той поры был рассказ «Обед с Качаловым». Так случилось, что, когда я уже подошел к концу, приехали гости — человек двадцать, если не больше. Алексей Максимович стал рассказывать им про меня, потом попросил:

— Эрколе, если вы не очень устали, не сможем ли мы дать для вновь прибывших второй сеанс.

Я пошел рассказывать все сначала. Кончил — К. Е. Ворошилов приехал. Для него Алексей Максимович попросил провести третий сеанс.

Толстой говорил:

— Знаете, Алексей Максимович. У Ираклия особенная, так называемая стенографическая память. Он запоминает все, что я говорю, а потом стругает из этого свои рассказы.

— Ну, это крайне сомнительно. Потому что он тут трижды рассказывал это, и все по-разному. А вы при этом восклицали: «Откуда ты это взял?». Интересно вот что: сидит начинающий комментатор Лермонтова и продолжительно рассказывает, о чем беседовали между собой знаменитый советский писатель и не менее знаменитый советский актер. И люди, искусственные в литературе и не первый день в ней пребывающие, слушают эту сцену, хотя по существу никакого театрального действия в ней не происходит. А некоторые кокетливые и весьма путанные театральные критики изощряются в поношении «Егора Булычова», утверждая, что пьеса сия не сценична.

потому что в ней интерес внешнего действия заменен длинными разговорами. Все это совершенно неубедительно. Смею думать и утверждать, что действие в «Булычове» выражено, но выражено не в сценической суете, а в диалогах и речах действующих лиц. Между прочим, искусство живого рассказа было бы невозможно без этого, поскольку действие рассказа заключено в нем же самом. Рассказывание в лицах не заставляло себе прочного места в литературе, потому что не связано с книгой. Дело это крайне интересное, но, видимо, затруднительное... Был у нас в Арзамасе звонарь. Представлял в лицах торговца галантерейным товаром, богомаза, дьячка, нотариуса и десятка два других персонажей. Анафемски талантливо исполнял. Великолепные были скетчи. Но закрепить это на бумаге — дело затруднительное не только для звонаря. Между тем исчезновение этого рода искусства мешает его понять...

Через несколько дней после поездки к Горькому мне позвонил Виктор Шкловский. Сказал:

— У меня Петр Павленко. Хочет получить твою рукопись. Я ему говорю: «Он не пишет, а говорит». Не верит. Трубку взял Павленко. Сказал:

— Будем считать, что мы познакомились. А теперь дайте рукопись... Что значит — нету?! Сядьте и напишите! Когда мы не пишем, у нас тоже нет рукописи. Не умеете написать — продиктуйте... Что значит «не могу без аудиотипки». А что мы с Витей Шкловским — не люди? Приезжайте, расскажите нам. Стенографистка запишет. Перестаньте волноваться. Мы хотим вам добра. Горький хвалит. Я сегодня же отвезу к нему текст, чтобы получить его отзыв.

Мы встретились. Павленко увез расшифрованную стенограмму. Вскоре в журнале «30 дней» появились мои рассказы с рекомендацией Горького. В нескольких строчках он похвалил их, но отметил, что, оторванные от автора, они многое теряют. Тем самым признал, что это рассказы особые, устные, неотделимые от исполнителя.

Прошли годы. Явилось тепловидение. И вместе с ним возможность исполнить их перед огромной аудиторией так, как я когда-то рассказывал их Горькому.

Я представлял себе Горь-

кого по портретам, по кинохронике, снятой в дни Первого съезда советских писателей, когда он, волнуясь и потирая руки, говорил о взаимоотношениях писателей и о праве единственном, которое у них отнято, — праве писать плохо. Дома у себя Горький был спокойнее, говорил, покашливая, неторопливо и веско.

Редко мне приходилось в жизни видеть человека такого обаяния и такого необыкновенного артистизма. Мне стало казаться, что я его знаю уже давно. Более того... что и он меня знает давно. И я успокоился. Насколько можно было успокоиться в этот необыкновенный и такой важный для меня день.

Сели за стол. Обедать. После второго блюда Горький сказал:

— Ну, уважаемый Эрколе.

Попросим вас, сударь, познакомиться нас с вашими сочинениями.

Толстой шепнул:

— Работай в полную силу. Ты старику понравился.

И я начал рассказывать. Сперва про Толстого и Маршак. Начинался рассказ «за кулисами». Первые фразы я произносил в другой комнате. Я на ходу придумывал фразы, чтобы не задеть самолюбие своих «моделей». Впрочем, они вместе с Горьким очень доброжелательно оценили свои «портреты». Насмевшись и крутя головой, Горький сказал, что я похож на них больше, чем они на себя сами.

Маршак сказал:

— Толстой у него больше похож, чем я...

Горький закурил тоненькую египетскую папироску, сказал:

— Этой вашей фразой, дорогой Маршак, будет начинаться какой-нибудь новый его рассказ...

А потом всерьез, обстоятельно стал говорить о способности искусства быть более похожим на действительность, чем сама действительность. И о том, что трудно узнать себя на портрете. По-

тому что человек знает себя иначе и представляет себя иначе, чем его видят другие.

Потом я рассказывал про знаменитого лингвиста академика Щербу, у которого учился в Ленинградском университете. Потом рассказал «В гостях у дяди» — про громкогласного тифлисского меломана Илью Элевтеровича Зурабишвили и его давнего друга, глухую старушку Мако — в прошлом замечательную грузинскую актрису Марию Михайловну Сапарову-Абашидзе.

— Отлично, отличные старики, — сказал Алексей Максимович. — Грузинские «Филлимон и Бавкиды», символизирующие радушие и нестерпимую любовь. Их воспел в свое время римский поэт Овидий, которому посвятил великолепные строки наш Александр Пушкин.

Самым капитальным из моих устных сочинений той поры был рассказ «Обед с Качаловым». Так случилось, что, когда я уже подошел к концу, приехали гости — человек двадцать, если не больше. Алексей Максимович стал рассказывать им про меня, потом попросил:

— Эрколе, если вы не очень устали, не сможем ли мы дать для вновь прибывших второй сеанс.

Я пошел рассказывать все сначала. Кончил — К. Е. Ворошилов приехал. Для него Алексей Максимович попросил провести третий сеанс.

Толстой говорил:

— Знаете, Алексей Максимович. У Ираклия особенная, так называемая стенографическая память. Он запоминает все, что я говорю, а потом стругает из этого свои рассказы.

— Ну, это крайне сомнительно. Потому что он тут трижды рассказывал это, и все по-разному. А вы при этом восклицали: «Откуда ты это взял?». Интересно вот что: сидит начинающий комментатор Лермонтова и продолжительно рассказывает, о чем беседовали между собой знаменитый советский писатель и не менее знаменитый советский актер. И люди, искусственные в литературе и не первый день в ней пребывающие, слушают эту сцену, хотя по существу никакого театрального действия в ней не происходит. А некоторые кокетливые и весьма путанные театральные критики изощряются в поношении «Егора Булычова», утверждая, что пьеса сия не сценична.